КОМЁЛА

Мой отец вернулся с войны не домой. Что, спросил он моего деда, как без меня жили, что делали? Спокойным вернулся, пришёл молодым, хотя дольше других задержался. Писем не было.

Мой отец сел за стол без скатерти. Что-то не так стало. Потому что дед любил есть не на кухне, как все мужики, а сюда приходить, в комнату, и без газеты ставить на стол – редиску, вытащенную из земли и слегка только сполоснутую в пруду, бутылку кислого молока, чёрный хлеб и беловатую карамельку без фантика. И потом на столе следы оставались, отец и сам отмывал, пытался – не любил за грязный стол садиться.

А теперь стол чистый.

– А жарко сегодня, – сказал мой дед, – парит от земли. Сегодня отдохни, а завтра пойдём на Комёлу, она полноводная сделалась, снега были.

Моему деду пятьдесят лет, всё у него хорошо, только с зубами худо – чёрные пеньки одни и остались. В районной больнице предлагали – давай хоть железные вставь, Васильич, а то ходишь, людей пугаешь. Но вставлять дед отчего-то боялся.

– Подумал, что тебе и без нас там весело, что докучать буду. Вот и писал, что всё хорошо.

– А на самом деле?

– И на самом деле хорошо, – торопится ответить дед, – ты что, думаешь, врали? Сегодня выходной дали, сына встретил. Уже вроде как не положено, но упросил. Что ж они, не понимают, что ли? А ты есть-то хочешь? А то приготовили ведь.

Мой отец вспоминает, как просыпался по субботам, шёл на запах горячей побелки – мама уже встала, тесто поднялось. Можно тебе помочь? –   
спрашивал отец. И мама давала один пирожок защипать, а получалось детскими, и непривычными, и слабыми руками плохо – но она никогда за него не переделывала, так оставляла. А потом, когда вынимали противень с готовыми пирожками, отец всегда искал тот, свой – и гордился, что вышло, получилось. И самым вкусным казался, поэтому половинку всегда маме отламывал – мол, на, хочешь *моего* пирожка? И сама всегда ела, хвалила. Какой вкусный пирожок у тебя вышел, Ванечка.

Дед несёт пирожки на блюде, по салфеткой вышитой.

Отец не берёт.

– Ты что, сынок? Не голодный? Пока ехал…

– Нет, проголодался. Только не знаю, откуда пирожки.

– Как откуда? Да напекли.

– Кто напёк?

Отец смотрит прямо и замечает, что дед высокий, загорелый, в морщинках только мелких белых, а глаза немного выцветшие от солнца, но не злые.

– Да кто, – дед опускает глаза, и нелепо выглядит, когда большой, сильный человек смущается, не знает, как деться от сына.

– Кто она?

Широкие запястья и костистые руки деда черны от загара – а если рукав закатает, так там белое будет, молочное. Это оттого, что на пастбище так загар ложится – лицо, шея, прорезь воротника, руки. И можно понять, кто в совхозе работает.

– Да Анька Медведева, – поднимает глаза.

– Да, припоминаю.

– Куда припоминаешь! – дед смеется, нервно и громко, слишком громко – смех ударяется о стены, о стекла, возвращается. – Да вы с ней вместе бегали…

Отец не помнит, с кем бегал. Славку помнит, Пашку помнит. Ольгу ещё Смирнову. А Аньку Медведеву – нет.

– Не выдумывай, – нервничает дед, двигает блюдо, поворачивает, – она любовно пекла, старалась, чтобы к твоему приходу. Хорошо хоть телеграмма пришла, упредила нас. А то бы только тесто к десяти утра поднялось.

– У мамы к девяти уже пироги были. Помню, встанешь, отоспишься, а уже на весь дом пахнет. И встаёшь, и идёшь по холодному полу.

– Ты матери не касайся. Незачем.

– Как незачем? Может, тебе уже и незачем.

– Мать восемь лет назад померла. Ты что же, так и будешь ворошить?

– А раз восемь лет – надо Аньку Медведеву скорее в дом звать?

Дед страшно белеет лицом, встаёт.

– А ты в мои дела не лезь. Тебя тут не было. Ты не знаешь, как пришлось…

– Ты знаешь, где я был.

– Я знаю. Но это тебе права не даёт, да мы тут, если хочешь знать… Тебя только ждали, чтобы жить по-старому. Анька тоже работала, и я работал, и все…

– Я уже понял, как она работала. Надеюсь, что тебе ейная работа нравится, ночью в особенности.

Нет, отец не думал, что он ударит.

Ударил.

Не почувствовал ничего – только загорелось на скуле, будто насекомое ужалило. Встал, прошёл мимо, поднял вещмешок, что поставил и не разобрал у порога, спустился по лесенке, прошёл мимо сарая – и со двора вышел, калитку на задвижку закрыл, руку между планок протянул.

Мой отец повернулся, посмотрел напоследок на дом – фронтон голубым выкрасили, неужели краску в сельпо завезли? Но потом, когда мимо других дворов шёл, увидел – нет, никто такой рамы не подновил, заборы не выкрасил. Значит, достал откуда-то – может, даже в магазин в самой Вологде съездил.

А зачем в Вологду ездил? Ручаюсь, чтобы Аньке Медведевой юбку или колечко купить.

Отец вспоминает материно кольцо – не снимала никогда, потому что обратно на распухший от времени палец не надеть, потому и руки тёмные, сухие, в красноватых пятнышках. Когда летом доила – ещё ничего было, а зимой пятнышки становились трещинками и расходились от ногтей, как те линии, которые на картинах от старости встречаются. Неужели нельзя никак заделать, перерисовать?

Так и запомнить хотелось дом – ярким, нарядным.

Мальвы ещё самосевом у крыльца разрослись.

Справа от деревни течёт Комёла. Речушка меленькая, скудная, берега в ивняке, а высокие – полезешь бездумно, так и ноги переломаешь. Но знали места, хоть в любой момент из-под ног мог песок с сухими корнями осыпаться, вот и будешь падать до самой воды.

Тихим надо идти, робким.

Мой отец прошёл почти до конца деревни, где совсем уж бедные дома, и только дяди Лёши дом ничего, стоит, осел только чуть, так что наклониться при входе надо, чтобы головой о притолоку не стукнуться. В доме деда, который теперь забыть надо, похоже устроено – только в сенях пахнет приятно, деревом и инструментами, а у дяди Лёши – тряпками, нечистой обувью.

Дома только Владик.

– Дядь Вань, – он удивляется, радуется – сам беленький, тоненький мальчонка, выросший в худого юношу, беспокойного, – а мы ждали, что вы придёте.

– Здравствуй, Владик. Ты болеешь, что ли?

– Уже два года, – тихонько улыбается, – а как вы?

– Я теперь у вас жить буду, если твой отец не прогонит.

– А чего ему прогонять, – Владик отчего-то не удивляется, – если нам всем места хватает, то и вам тоже хватит. В горнице будете спать, матрас есть. Там ещё только я сплю, потому что никак не могу ночью со всеми – дышать перестаю.

– Как это – перестаёшь?

– А так, – снова улыбается, а глаза прозрачные, не как у деда, от работы и солнца – а потому что всё в доме, пишет в тетрадочку, шьёт какие-то вещи на продажу. А на огороде, конечно, не может. И в совхозе тоже. Но отцу почему-то понравилось, что берегут такого, напрасно на работу не гонят.

– А так, – повторяет, – больно становится здесь, в грудине, как будто садится кто-то, какое-то тёплое тяжелое животное. Как, знаете, кошки иногда на грудь садятся – терпишь вначале, а потом стряхиваешь? Так и тут. Только не стряхнуть.

Отец молчит.

– Ладно, пойду в горницу, можно ведь? Разбуди, когда дядя Лёша придёт.

– Он в шесть придёт. Разбужу.

В горнице прямо в портянках спать лёг, поставил вещмешок рядом с матрасом.

Потом ничего.

Вань, ему мерещится шёпот, Вань.

– А, что? – говорит. – Что случилось?

Тёмно, но кто-то стоит в темноте и повторяет – Вань, Вань. Пахнет плохо – но это от него, от его ног, не помылся вчера со всем новым.

Владик стоит.

– Что, дядя Лёша пришёл?

– Давно пришёл, но тебя не велел будить. Ты извини.

– А слушай, Владь, а тазик грязный дашь? Хочу на пруд сходить, ноги вымыть.

– Там мама поесть оставила. А тазики в сенях есть, бери любой. Только там ржавые.

– Да ничего.

У них на кухне пирожками не пахнет, да и спят все давно. И только Владик стелет клеенку, ставит на неё тарелку с жидким супом, кладёт ложку черенком вниз. И хлеб, и котлету из жил и хлеба на блюдце. Вкусно.

– Спасибо, – отец поднимается и хочет идти.

– Ты спать лучше иди опять, – советует Влад, – а я завтра помою, после завтрака. Завтра у отца выходной, тогда и скажешь.

Отец хочет ещё раз спасибо сказать, но взаправду нельзя, чтобы все слышали, – и так пришел, спать завалился. Стыдно. Ничего, утром объясниться можно. Дядя Лёша и сам понять должен, сам знал ведь, что творится. Дядя Лёша – дедов брат. Был ещё и третий, младший, но помер. Задохнулся, не смог прогнать зверька с груди.

Мой отец вернулся в горенку и спал ещё семь часов до утра.

Проснулся утром – никого кругом, Владик на матрасе своём аккуратно одеяло положил. Встает и идет в избу – надо дядю Лёшу до застать. Не ушёл никуда, сидит. Зубов у него ещё меньше, чем у отца, но улыбается, здоровается.

– Дядь Лёш, – говорит отец, – можно, я у тебя поживу? Угол займу в горенке, меня и не видно будет. Приживальщиком не стану – пойду сегодня о работе в совхозе спрошу.

– Работа есть, – кивает дядя Лёша, – да только не в субботу. А что случилось-то?

– А то вы не знаете.

– Знаю. А всё-таки?

– Ничего. Просто не хочу жить с отцом.

– Если это из-за Ани Медведевой…

– Дядь Лёш, – прерываю я, – вот не хочу об этом. Не хочу.

– Как знаешь. Мать твоя хорошая женщина была.

– Да.

Помолчали.

– А ты есть садись. Картошка вон отварная, прошлогодняя. Вкусная. Ты ешь. Не думай ни о чём таком, это теперь нельзя. Ты вот что думай –   
как с отцом помириться, нельзя же так. Наговорить разного всякий может. А тут человек вернулся, он на любое слово вскипеть может…   
И отец твой понимает.

Отец поднимает голову, смотрит.

– Экое что у тебя на морде-то, – медленно говорит дедов брат, – тогда вот что думай – что устроишься на работу, а покуда с нами поживешь. У меня вон внуков четверо да внучек шестеро. Да парни, да жены их. И ты тут будешь заместо среднего, что ли. Вон Владику хоть ума вложишь.

– А что такое?

– Да он учиться не хочет. В институт, говорит, не пойду. А сам задачки как орешки щелкает… Учительница приходила, да. Принесла его тетрадку, показывала. Сказала, что ему в институт надо. Ну соберём, раз надо. Разве не соберём? А он артачится.

– Почему?

– Да, говорит, нету моего такого стремления к точным наукам. Поди ж ты. Поговорил бы с ним? А?

– Поговорю, – отец думает о своём. К ним домой тоже учительница приходила. Пять лет назад. Говорила – способный мальчик, ему инженером быть, это *про него говорила, о нём*.

– А насчёт Медведевой Анны я тебе так скажу, – серьезнее становится, – ведь что с того, что ты с ней в школе гулял. Ты, небось, и забыл её, и девушки у тебя были… Мужики рассказывали, что вы и с местными там жили, ничего. Не осуждаем. И твоему отцу худо без бабы, и сам ещё нестарый. У Аньки-то, слышь, ребёнок должен был родиться –   
сказывали, что от тебя. А когда ты писать перестал – всё, решили, плакать надо. А твой отец не плакал, а сказал – так, мол, и так, иди за меня, а то люди засмеют. Брюхатая баба без мужика – нехорошо. Да и дома её обижали. Вот она и пошла. А ребёночек всё равно мёртвый родился, но ты не верь, что говорить станут.

– А что станут?

– Ну, скажут, что нельзя женщине, если тяжёлая ходит, с мужиком жить. А твой отец… Ну да это, может, и неправда всё. Может, и не было ничего. Твоя папаня тоже не без башки. Но потом тяжело им пришлось –   
вместе тяжко, но никуда не денешься. Ждали, когда ты придёшь, чтобы объясниться, сказать.

– Хватит. Хватит. Спасибо, что в доме оставил.

Вдруг открывается дверь в избу, и как-то слишком медленно заходит Владик – у него белые глаза, и говорит:

– Беги скорее, там твой отец в Комёле утопился.

Мой отец прибежал на берег реки почти одновременно с Анной Медведевой, да и там только взглянули друг на друга под плакучими ивами, разросшимися травами, стояли, спуститься не решаясь.

В моё время Комёла мелкая стала – текла, текла, да и кончилась вся.